

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда я впервые услышал о голосах травы? Задолго до того, как мы поселились в кроне персидской сирени. Стало быть, не этой, а предыдущей осенью. А рассказала мне о ней не кто иная, как Долли; больше никто до такого бы не додумался: голоса травы.

Если вы выйдете из церкви за пределы города, то вам не миновать заметного холма с белыми, как кости, могильными плитами и выгоревшими бурыми цветами — баптистское кладбище. Там покоится местный люд: Талбо, Фенвики, моя мать с отцом и многочисленная родня — двадцатка могил, распространившихся во все стороны, подобно корням

каменного дерева. У подножия холма раскинулась прерия, поросшая высокой ковыль-травой, меняющей окраску по сезону; осенью, в конце сентября, она может поспорить с закатным солнцем, алые тени пробегают по ней огневыми сполохами, и ветер извлекает из сухих побегов живую музыку, голос арфы.

За прерией темнеет прибрежный лес. Вероятно, в один из таких сентябрьских дней, когда мы собирали в лесу коренья, Долли и сказала: «Ты слышишь? Это прерия рассказывает человеческие истории. Она знает все про тех, кто лежит на холме, кто жил когда-то, а когда мы умрем, расскажет и про нас».

После смерти мамы мой отец, коммивояжер, пристроил меня к своим незамужним кузинам, Верене и Долли Талбо, родным сестрам. Раньше меня не пускали к ним на

порог. По невыясненным причинам Верена и мой отец не общались. То ли папа попросил у нее займы, а она отказала, то ли дала ему в долг, а он не вернул. Но можно не сомневаться, что все упиралось в деньги, так как для обоих не существовало ничего важнее, особенно для Верены, богаче которой не было никого в нашем городе. Аптека, галантерея, бакалейная лавка, бензозаправочная, контора принадлежали ей, а чтобы всем этим завладеть, потребовалась железная воля.

Короче, папа сказал, что ноги его не будет в ее доме. О сестрицах Талбо он говорил страшные вещи. Сплетня о том, что Верена «мафродит», жива и поныне, но особенно мою мать возмущали его издевки над мисс Долли Талбо; постыдился бы потешаться над тихой безобидной женщиной,

говорила она.

Мне кажется, они очень любили друг друга. Мама плакала всякий раз, когда он уезжал торговать бытовой техникой. Она вышла замуж в шестнадцать и не дожила до тридцати. В день ее смерти папа сорвал с себя всю одежду и, выкрикивая ее имя, голый выбежал во двор.

На следующий день после похорон к нам пожаловала Верена. Помню, с каким ужасом я наблюдал за ее приближением: по дорожке шла худая, как плеть, красивая женщина с седыми прядками волос, черными мужеподобными бровями и кокетливой родинкой на щеке. Она открыла дверь и по-хозяйски прошла в дом. Тут надо сказать, что папа после похорон принялся ломать вещи, не в бешенстве, а спокойно и методично: забредет в гостиную, возьмет в руки какую-

нибудь фарфоровую фигурку, секунду поразмышляет — и разобьет об стену. Пол и лестница были усеяны осколками стекла и разбитой посуды, на перилах висела, вся разодранная, одна из маминих ночных рубашек.

Верена окинула взором следы разгрома.

— Юджин, мне надо с тобой поговорить, — произнесла она дружеским, холодновато-приподнятым тоном, и папа ей ответил:

— Верена, ты садись. Я ждал, что ты придешь.

В тот же день к нам заглянула Доллина подружка, Кэтрин Крик, и собрала мои вещи, а папа привез меня к представительному дому в тени деревьев на улочке Талбо. Он попытался меня обнять, когда я вылезал из машины, но я с перепугу выскользнул из его рук. Жаль, что

мы тогда не обнялись. Потому что несколько дней спустя по дороге в Мобил его машина пошла юзом и упала в пропасть, пролетев пятьдесят футов. Когда я снова его увидел, у него на веках лежали серебряные доллары.

Если раньше на меня никто не обращал внимания, ну разве отмечали, какой я коротышка, то теперь на меня показывали пальцем: «Бедняжка Коллин Фенвик». Я старался выглядеть жалким, зная, что всем это нравится; каждый встречный и поперечный угощал меня стаканчиком лимонада или карамельным батончиком с орехами, а в школе я впервые получал хорошие отметки. Поэтому прошло довольно много времени, прежде чем я успокоился и обратил внимание на Долли Талбо.

И сразу в нее влюбился.

А представьте, каково было ей —

в доме появился шумный, всюду
сующий свой нос
одиннадцатилетний мальчишка.
Заслышав мои шаги, она уносилась
прочь, а если уж некуда было
деваться, закрывалась, как
скромница-роза, складывающая
свои лепестки. Она была из тех, кто
легко выдает себя за предмет
обстановки или тень в углу — вроде
есть, а вроде и нет. Она носила
бесшумные туфли и простые платья
до самых лодыжек — вылитая
девственница. Хотя она была
старше своей сестры, казалось,
будто та ее удочерила, как
впоследствии усыновила меня. И,
попав в гравитационное поле
планеты Верена, мы вращались
вокруг нее, каждый по своей орбите,
в разных уголках дома.

Чердак, этакий запущенный
музей, заселенный старыми
манекенами-призраками из

вышеупомянутого галантерейного магазина, еще был примечателен гуляющими половицами, раздвинув которые можно было заглянуть практически в любую комнату. Доллина, в отличие от остальных, заставленных громоздкой строгой мебелью, ограничилась кроватью, конторкой с зеркалом и стулом. Ее можно было бы принять за монашескую келью, если бы не одно обстоятельство: потолок, стены и даже пол выкрашены в чудной розовый цвет.

Всякий раз, когда я за ней подсматривал, Долли занималась одним из двух: или, стоя перед зеркалом, подстригала садовыми ножницами и без того короткие седые с желтизной волосы, или что-то писала в коленкоровом блокноте чернильным карандашом, периодически облизывая кончик и иногда как бы пробуя на язык

записываемую фразу: «Не ешьте сладкое. Конфеты и соль — верная смерть». Сейчас-то я знаю, что она писала письма, но поначалу это было для меня загадкой. Кроме Кэтрин Крик, единственной своей подруги, она ни с кем не виделась, а из дому выходила с той же Кэтрин не чаще чем раз в неделю, чтобы собрать в лесу ингредиенты для настойки от водянки, которую она варила и разливала по бутылочкам. Позже я узнал, что у нее были клиенты во всем штате, им-то и адресовались все эти письма.

Комната Верены, соединенная с Доллиной коридором, скорее напоминала контору: бюро с закрывающейся крышкой, куча гроссбухов, каталожный шкаф. После ужина, сев за стол и водрузив на нос зеленые наглазники, она переворачивала страницы своих гроссбухов и подсчитывала прибыль

далеко за полночь, когда уже гасли уличные фонари. Хотя Верена со многими поддерживала деловые, можно сказать, дипломатические отношения, близких друзей у нее не было. Мужчины ее боялись, а сама она, кажется, побаивалась женщин.

Когда-то она сильно привязалась к жизнерадостной блондинке Модии Лоре Мёрфи, которая какое-то время проработала на почте, пока не вышла замуж за торговца спиртными напитками из Сент-Луиса. Расстроенная Верена публично заявляла, что он ей не пара. Поэтому все удивились, когда она подарила им поездку к Большому каньону в качестве свадебного путешествия. Назад молодожены не вернулись; возле каньона они открыли автозаправочную и изредка посылали Верене свои фотографии, снятые на «кодаке», — источник

одновременно радости и печали. Иногда она полночи, даже не открыв свои грессбухи, сидела за столом, обхватив голову руками и вперившись в разложенные перед ней снимки. Наконец, убрав их подальше, она принималась ходить по комнате с выключенным светом, и вдруг раздавался пугающий вскрик, как будто она, споткнувшись в темноте, упала.

То место на чердаке, откуда я мог заглянуть в кухню, было забаррикадировано чемоданами, словно тюками с шерстью. А ведь именно кухня как центр домашних событий была главным объектом моего интереса: там Долли проводила большую часть дня, болтая со своей подружкой Кэтрин Крик. Мистер Урия взял последнюю в дом ребенком, когда та осиротела, и она, прислуживая, выросла вместе с сестрами Талбо еще на старой

ферме, которую позже приспособили под железнодорожный склад. Долли она называла «сердце мое», а Верену не иначе как «Эта». Кэтрин жила на заднем дворе, во флигеле с серебристой оловянной крышей, увитом вдоль и поперек побегами каролинских бобов, в окружении подсолнухов. Себя она выдавала за индеанку, что вызывало у людей ироническую улыбку: она ведь была темнокожая, вылитый африканский ангел. Хотя, может, и не врала; во всяком случае одевалась она как настоящая индеанка: бирюзовые бусы и столько румян, что можно ослепнуть, ее щеки призывно горели, как задние фары автомобиля. Своих зубов у нее почти не осталось, и она затыкала дырки ватными тампонами, а Верена возмущалась: «Кэтрин, ты же, черт побери, не в состоянии

произнести ни одного внятного слова, так пойдй уже, Христа ради, к доку Крокеру, и он тебе вставит зубы!» Понять ее было трудно, это правда, и только Долли помогала нам разобраться с этой кашей во рту своей подруги. А Кэтрин было довольно, что Долли ее понимает; они проводили все время вместе, и то, что им хотелось сказать, они говорили друг дружке. Приложив ухо к стропилам, я вслушивался в волнующее журчание женских голосов, стекавших сладкой патокой по обветшалым деревянным стенам.

На чердак вела лестница в бельевом чулане, упиравшаяся в люк. Однажды я полез наверх и вдруг вижу, что люк открыт настежь, а на чердаке кто-то тихо напевает — так мурлычут себе под нос играющие сами с собой маленькие девочки. Я уже собирался вернуться, когда пение

смогло и женский голос спросил:

— Кэтрин?

— Коллин, — ответил я, высовывая голову.

Передо мной возникла нетающая снежинка Доллиного лица.

— Вот где ты бываешь, мы так и подумали. — Ее слабенький голос, казалось, вот-вот разорвется, как папиросная бумага. В чердачной полутьме на меня глядели глаза одаренного человека, горящие, прозрачные, с зеленоватой искрой, как мятное желе, и в них читалось робкое признание: я не представляю для нее угрозы. — Ты играешь здесь, на чердаке? Я говорила Верене, что с нами тебе будет одиноко. — Нагнувшись, она пошарила в недрах бочки. — Ты мне не поможешь? Погляди в такой же. Я ищу коралловый замок и мешочек с разноцветными перламутровыми камешками. Мне

кажется, Кэтрин будет рада аквариуму с золотыми рыбками на день рождения. Как думаешь? Когда-то у нас был аквариум с тропическими скатами, так они друг дружку пожрали. Но я помню, как мы поехали их покупать, аж в Брютон, за шестьдесят миль. Так далеко я никогда не ездила и вряд ли еще когда-нибудь поеду. Ага, вот он, замок!

А вскоре я обнаружил и камешки, похожие на кукурузные зерна или на леденцы.

— Хотите леденец? — Я протянул ей мешочек.

— О, благодарю, — сказала она. — Обожаю леденцы, даже если они на вкус обыкновенные камешки.

Мы стали друзьями. Долли, Кэтрин и я. Мне было одиннадцать, и вот уже шестнадцать. Славы не прибавилось, но это были счастливые годы.

Я никого не приводил к себе и не собирался этого делать. Однажды я повел девушку в кино, а когда провожал ее домой, она спросила, нельзя ли ей ко мне зайти выпить воды. Если бы ее и вправду мучила жажда, я бы не отказал, но это было притворство, она просто хотела заглянуть внутрь, как и многие другие, поэтому я ей сказал, чтобы потерпела до дома. А она мне: «Всем известно, что Долли Талбо ненормальная, и ты тоже такой». Вообще-то, она мне нравилась, но тут я ее пихнул, и она пообещала, что ее брат начистит мне вывеску. Так и произошло: у меня на всю жизнь остался шрам у рта, куда он мне врезал бутылкой кока-колы.

Ну да, все говорили, что Долли — это Веренин крест и что в доме на улочке Талбо происходит такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Им виднее. Но для меня это

были счастливые годы.

Зимой меня встречали из школы так: Кэтрин сразу открывала банку варенья, а Долли ставила на плиту огромный кофейник и совала в духовку сковороду с бисквитами, а когда она потом открывала духовку, по всей кухне распространялся запах горячей ванили. Долли, законченная сластена, постоянно пекла кексы, хлеб с изюмом, разное печенье и сливочную помадку; к овощам она даже не прикасалась, а из мясного ей нравились только куриные мозги величиной с горошину, которые проглатываешь, даже не успев толком распробовать. Из-за дровяной печи и открытого камина кухня была теплая, как коровий язык. Все, что удавалось зиме, это покрыть окна изморозью, обдав их своим холодновато-голубоватым дыханием. Если какой-нибудь волшебник пожелает сделать

мне подарок, пусть это будет бутылка с голосами нашей кухни, с переливами смеха и надтреснутым бормотком огня, с ароматами сливочного масла, сахара и печеного теста — только без запаха Кэтрин, роднившего ее со свиноматкой по весне. Наша кухня больше напоминала уютную гостиную с вязаным ковриком и креслами-качалками, с фотографиями котят, к которым Долли питала слабость, с геранью, что цвела круглый год, с аквариумом Кэтрин, стоявшим на столе, покрытом клеенкой, а в нем золотые рыбки, помахивая хвостами, проплывали под арками кораллового дворца. Иногда мы составляли кроссворды, поделив между собой фишки, и если Кэтрин видела, что кто-то может закончить игру раньше ее, то она свои фишки прятала. Они помогали мне с

домашними заданиями; вот где сыр-бор. Долли была докой во всем, что касалось природы; она обладала нутряным чутьем пчелы, знающей, где растет самый лакомый цветок; она могла за день предсказать бурю или усыпанную ягодами смоковницу, привести тебя в грибное место, или к дуплу, где можно собрать дикий мед, или к потаенному гнезду, где цесарка отложила яйца. Стоило ей только оглядеться, как она уже понимала, что к чему.

Но по части домашних заданий Долли, как и Кэтрин, была полным профаном.

— Америка называлась Америкой задолго до Колумба. Ну да, иначе откуда бы ему знать, что он открыл Америку?

Ей вторила Кэтрин:

— Верно. «Америка» — это старое индейское слово.

Из них двоих круче была Кэтрин: она настаивала на собственной непогрешимости, и если ты не писал строго под ее диктовку, она начинала дергаться и проливала кофе. Но после ее высказывания про Линкольна — что он был наполовину негром, наполовину индейцем, с белой крапинкой — я перестал ее слушать. Даже я знал, что это не так. И все же я перед Кэтрин в долгу; если бы не она, еще не факт, что я дотянул бы до нормального человеческого роста. В четырнадцать лет я был не выше, чем Бидди Скиннер, а ведь его, я слышал, приглашали в цирк.

Не волнуйся, дружок, говорила мне Кэтрин, тебя просто надо чуть-чуть растянуть. Она меня тащила за руки и за ноги, даже за голову, как будто это яблоко, не желающее расставаться с веткой. И вот вам, пожалуйста: за два года она меня

растянула с четырех футов девяти дюймов до пяти футов семи дюймов, что доказывают зарубки хлебным ножом на дверном косяке в буфетной; пусть много с тех пор воды утекло, пусть в печке гуляет ветер, а на кухне поселилась зима, эти зарубки остаются живыми свидетелями.

Хотя в целом Доллино лекарство оказывало благотворное воздействие на заказчиков, порой приходили и такие письма: «Дорогая мисс Талбо, нам больше не понадобится настойка от водянки, так как несчастная кузина Белль, — (имена менялись), — на прошлой неделе умерла, упокой Господь ее душу». Тогда наша кухня превращалась в место скорби: сложив перед собой руки и качая головами, мои подружки с горечью вспоминали обстоятельства этого дела, и Кэтрин говорила: «Долли,

сердце мое, мы сделали все, что могли, но Всевышний решил иначе». Верена тоже умела подпортить настроение, постоянно вводя новые правила или восстанавливая старые: «Делайте, не делайте, стоп, начали»; мы для нее были часами, и она следила за тем, чтобы мы тикали синхронно с ней, и горе нам, если мы убегали на десять минут вперед или на час отставали, — тут же раздавался голос кукушки Верены. «Эта!» — восклицала Кэтрин, на что Долли отзывалась: «Ш-ш-ш! Ш-ш-ш!» — словно желая угомонить не столько подругу, сколько взбунтовавшийся внутренний голос. Я думаю, Верена в душе желала быть своей в кухне, но она скорее напоминала мужчину в доме, где много женщин и детей, и единственным доступным для нее способом установить с нами контакт были эмоциональные взрывы:

«Долли, избавься от этого кота, если ты не хочешь, чтобы у меня разыгралась астма! Кто оставил в ванной льющуюся воду? Кто сломал мой зонтик?» Ее дурное настроение растекалось по дому, как едкий желтый туман. «Эта!» — «Ш-ш-ш, ш-ш-ш!»

Раз в неделю, обычно по субботам, мы отправлялись в лес на весь день. Кэтрин зажаривала цыпленка и посыпала специями дюжину сваренных вкрутую яиц, а Долли паковала шоколадный слоеный пирог и запас волшебной помадки. И вот, укомплектованные, с тремя пустыми мешками из-под зерна, мы шли церковной дорогой мимо кладбища и дальше через поле с ковыль-травой.

Перед самым входом в лес росла двуствольная персидская сирень, то есть на самом деле два дерева, но их ветви так переплелись, что можно

было перелезть с одного на другое, к тому же их соединял шалаш, просторный, основательный, всем шалашам шалаш, такой большой плот в лиственном море. Мальчишки, его построившие, если они, конечно, живы, должны быть глубокими стариками, ведь ему уже было лет пятнадцать-двадцать, когда Долли впервые его обнаружила, а к тому времени, когда она показала его мне, прошло еще четверть века. Попасть в него было не труднее, чем подняться по лестнице: ставишь ноги на сучки, а руками хватаешься за надежные вьющиеся стебли; даже Кэтрин с ее грузными бедрами и жалобами на ревматизм запросто одолевала подъем. Но любви к шалашу она при этом не испытывала. Она не понимала, в отличие от Долли, объяснившей мне, что это корабль, на котором ты плывешь вдоль

затуманенного берега наших грез. Помяните мое слово, говорила Кэтрин, эти старые доски держатся на гуляющих гвоздях, и когда доски подломятся, наши головы треснут вместе с ними.

Оставив провизию в шалаше, мы рассредоточились по лесу, каждый со своим мешком для лечебных трав и листьев и особых корешков. Никто, даже Кэтрин, не знал, что входит в настойку от водянки, Долли держала это в тайне, и нам не разрешалось заглядывать в ее мешок, который она прижимала к себе так, будто прятала там младенца с голубыми волосами, заколдованного принца. Вот ее рассказ:

— Давным-давно, в далеком детстве, — (Верена еще не распрощалась с молочными зубами, а Кэтрин была ростом со столбик в ограде), — здесь бывало цыган не

меньше, чем птиц в зарослях ежевики, — не то что сейчас, когда за целый год тебе встретятся трое или четверо. Объявлялись они по весне, неожиданно, как розовые побеги кизила, причем повсюду — на дороге, в окрестных лесах. Нашим мужчинам они не нравились, папа, твой внучатый дядя Урия, говорил, что застрелит любого, если поймает его на нашем участке. Поэтому я помалкивала, что видела, как цыгане набирали воду в нашей речке или зимой воровали попадавшие на землю орехи пекан. Как-то раз, в апреле, я пошла под дождем в хлев, где недавно отелилась Пеструха, и там увидела трех цыганок — двух старух и одну молоденькую, совсем голую, которая елозила на ложе из кукурузной ботвы. Когда они поняли, что я их не боюсь и не побегу на них доносить, одна из

старух попросила меня принести огарок. Я пошла в дом за свечой, а когда вернулась, та, что меня послала, держала за ножки, вниз головой, красного кричащего ребеночка, а вторая доила Пеструху. Я им помогла искупать младенца в теплом молоке и завернуть его в шаль. А потом одна старуха взяла меня за руку и сказала: «Сейчас я тебя обучу стишку, это мой тебе подарок». Стишок был про вечнозеленую кору и стрекоз в зарослях папоротника, в общем, про все, что мы находим в нашем лесу. «Вари травку-золотянку, чтобы вылечить водянку». Утром цыганок уже не было. Я искала их в поле и на дороге, но все, что мне от них осталось, это выученный стишок.

Перекликаясь, ухая, как совы среди дня, мы трудились все утро в разных уголках леса, а в полдень с мешками, набитыми ободранной

корой и нежными кореньями, снова забирались в зеленую паутину персидской сирени и раскладывали провизию. У нас была проточная вода в стеклянной банке, а в термосе горячий кофе на случай, если кто-то продрогнет, ну а жирные от цыпленка и липкие от помадки пальцы мы вытирали скомканными листьями. Позже, когда мы гадали по цветам и рассказывали друг другу свои сны, нам казалось, что мы плывем сквозь остановившееся время на зеленом плоту, мы были такой же неотъемлемой частью дерева, как посеребренные солнцем листья и усевшийся на ветку козодой.

Примерно раз в году я навещаю к дому на улочке Талбо и заглядываю во двор. И вот вчера я там наткнулся на перевернутую старую чугунную бочку; она лежала в лопухах, точно

упавший черный метеорит. Когда-то Долли стояла над ней, вытряхивая из мешков в кипящую воду наши травяные сборы и помешивая бурое, как табачный плевок, варево спиленной ручкой метлы.

А мы с Кэтрин, подручные ведьмы, наблюдали со стороны. Позже мы помогли ей разливать варево по бутылкам, а поскольку от него шли испарения, которые выбивали обычную пробку, я скручивал специальные затычки из туалетной бумаги. Продавалось в среднем шесть бутылок в неделю, по два доллара каждая. Вырученные деньги, решила Долли, принадлежали всем троим, и мы их сразу спешили потратить. Мы заказывали все подряд по рекламе в журналах: «Учись резьбе по дереву», «Пачизи: игра для старых и молодых», «Базука доступна любому». Однажды мы послали

деньги за самоучитель французского языка. Моя идея: у нас будет свой тайный язык, недоступный для Верены и прочих. Долли захотела попробовать, но дальше «*Passez-moi*¹ ложку» у нее не пошло, а Кэтрин, выучив «*Je suis fatigüe*»², больше книжку не открывала, так как ей этого вполне хватило.

Верена, хотя и поговаривала, что, если кто-то отравится, у нас будут неприятности, особого интереса к настойке от водянки не проявляла. Но в один прекрасный день мы подсчитали прибыль за год и поняли, что с нее надо платить налоги. Тут уж Верена начала задавать вопросы: для нее деньги были этакой дикой кошкой, по следу которой она кралась, как опытный охотник, приглядываясь к каждой сломанной веточке. Какие ингредиенты, желала она знать, входят в настойку? Долли была

польщена таким интересом и чуть не хихикала, однако замахала руками и ответила уклончиво: «Да разные, ничего особенного».

Верена вроде как оставила эту тему, притом что за ужином она частенько задумчиво посматривала на сестру, а однажды, когда мы втроем собрались во дворе вокруг бочки с варевом, я глянул вверх и увидел в окне Верену, пристально следившую за всем процессом. Я думаю, к тому времени она уже составила план действий, но первый шаг был сделан летом.

Два раза в году, в январе и в августе, Верена ездила за покупками в Сент-Луис или Чикаго. В то лето, когда мне исполнилось шестнадцать, она отправилась в Чикаго и через две недели вернулась в сопровождении некоего доктора Морриса Ритца. Естественно, все задавались вопросом, кто такой

Моррис Ритц. В галстук-бабочке и развеселых пестрых костюмах, с синими губами и блестящими бегающими глазками, он напоминал мерзкую мышь. Говорили, что он поселился в лучшем номере отеля «Лола» и на ужин ест стейки в «Кафе Филадельфия». Он ходил по улицам с важным видом, вертя напомаженной головой в сторону каждого встречного. Друзей у него не было, и появлялся он исключительно в компании Верены, при этом она ни разу не привела его в дом и никогда не упоминала его имени, пока однажды Кэтрин, набравшись наглости, не спросила: «Мисс Верена, а кто этот смешной человечек доктор Моррис Ритц?» Тут Верена побелела и ответила: «Не вижу в нем ничего смешного, в отличие от некоторых».

Отношения Верены с коротышкой-евреем из Чикаго люди

находили скандальным: он был на двадцать лет моложе ее. Пронесся слухок, что они чем-то занимаются на старом консервном заводе в другом конце города. И вправду занимались, как выяснилось позже, но не тем, о чем думали парни в бильярдной. Почти каждый день все видели, как Верена и доктор Моррис Ритц направлялись в сторону фабрики — заброшенного, полуразрушенного каменного строения с зияющими провалами вместо окон и просевшими дверями. Лет десять никто туда не заходил, кроме школьников, куривших там сигареты и устраивавших обнаженку. И вот в начале сентября из заметки в «Курьере» мы узнали, что Верена купила консервный завод, только там не говорилось, что она собирается с ним делать. А вскоре Верена велела Кэтрин зарезать двух кур, так как в

воскресенье к нам на ужин пожелует доктор Моррис Ритц.

За все время, что я там жил, Моррис Ритц был единственным, кого пригласили на улочку Талбо поужинать. В общем, по многим причинам это было событие. Кэтрин и Долли сделали весеннюю уборку: выбили ковры, принесли с чердака китайский фарфор, натерли во всех комнатах полы, заблестевшие от воска и лимонного глянца. Гости ждали жареные цыплята и ветчина с английским горошком и сладким картофелем, рулеты, банановый пудинг, два разных сладких торта и фруктовое мороженое из дежурной аптеки.

В воскресенье днем Верена зашла в столовую с проверкой; обеденный стол с раскидистым букетом роз персикового цвета в середине и рядами причудливо разложенных серебряных приборов, казалось,

накрыт на двадцать персон, а стульев стояло только два. Верена приставила еще парочку, на что Долли отозвалась слабым голосом, что Коллин, если захочет, может ужинать в столовой, но лично она поест вместе с Кэтрин на кухне. Верена топнула ногой:

— Не морочь мне голову, Долли. Это важно. Моррис специально придет, чтобы с тобой познакомиться. И вот что, подними повыше голову, сделай одолжение. Я не могу смотреть, когда ты ходишь понурая.

Долли, не на шутку перепугавшись, спряталась у себя в комнате, и, после того как гость напрасно ее прождал, меня послали за ней. Она лежала на розовой постели с влажной фланелькой на лбу, а рядом сидела Кэтрин, вся такая лоснящаяся и нарумяненная, ну чисто леденец на палочке. Я

сразу понял, какое количество ватных тампонов напихала она в рот, стоило ей прошамкать:

— Солнышко, вставай, а то вконец изомнешь чудное платьице.

Это платье из набивного ситца Верена привезла из Чикаго. Долли села на постели, чтобы разгладить складки, и тут же снова легла.

— Скажи Верене, что я ужасно сожалею, — пробормотала она жалобно.

Я вернулся со словами, что Долли заболела. Я сама разберусь, сказала Верена, и удалилась командирским шагом, оставив меня наедине с доктором Моррисом Ритцем. Какой же он был противный.

— Тебе, стало быть, шестнадцать.
— Он мне подмигнул своими нахальными глазками, сначала одним, потом другим. — И уже выдрючиваешься, а? Уговори старушку в следующий раз взять

тебя с собой в Чикаго. Там тебе будет перед кем повыдрючиваться.

Он прищелкнул пальцами и затоптал своими шик-блеск востроносими туфлями, как будто станцевал водевильный номер; его можно было бы принять за чечеточника или за газировщика, если бы он не ходил с плоским чемоданчиком, что предполагает более серьезные занятия. Интересно, подумал я, что он за доктор; я уже собирался его об этом спросить, но тут вернулась Верена, ведя под локоть сестру.

Ни вечерние тени, ни обитая тканью мебель не могли ее себе присвоить. Не поднимая глаз, она протянула руку, и доктор Ритц так грубо ее схватил и так крепко сжал, что Долли едва не потеряла равновесие.

— О, мисс Талбо! Для меня это такая честь! — Он лихо завернул

свой галстук-бабочку.

Мы сели за стол, и Кэтрин принесла курицу. Она обслужила Верену, затем Долли, а когда очередь дошла до доктора, он заявил:

— Признаться, в курице для меня существуют только мозги. Мэм, у вас, случайно, не осталось на кухне ничего такого?

Кэтрин уставилась на свой кончик носа, так что глаза у нее чуть не съехались к переносице. Путаясь языком в ватных тампонах, она кое-как выдавила:

— Мозги на тарелке у Долли.

— Ох уж этот южный акцент! — ужаснулся он.

— Она говорит, что мозги лежат у меня на тарелке, — пояснила Долли, и щеки у нее стали цвета Кэтринных румян. — Но я буду рада отдать их вам.

— Ну, если вы не возражаете...

— Она нисколько не возражает,
— вмешалась Верена. — Она вообще ест только сладкое. Вот, Долли, возьми банановый пудинг.

Тут доктор Ритц расчихался.

— Эти розы... у меня аллергия...

— Господи! — Увидев возможность сбежать на кухню, Долли схватила хрустальную вазу, но та, выскользнув из рук, упала и разбилась, розы полетели в подливку, а подливка в нас. — Ну вот, — сказала она сама себе, готовая заплакать, — это безнадежно.

— Нет ничего безнадежного. Долли, сядь и съешь свой пудинг, — сказала ей Верена твердым, ободряющим тоном. — У нас для тебя есть приятный сюрприз. Моррис, покажите ей эти чудесные ярлычки.

Доктор Ритц, перестав стирать с рукава подливку и пробормотав:

«Ничего страшного», ушел в прихожую и вернулся с чемоданчиком. Перелистав кипу бумаг, он наконец наткнулся на большой конверт и вручил его Долли.

В конверте обнаружились липучки, треугольные ярлычки с оранжевой надписью «Красавица-цыганка с настойкой от водянки» и нечетким портретом женщины в бандане, с золотыми кольцами серег в ушах.

— Высший класс, а? — сказал доктор Ритц. — Сделано в Чикаго. Нарисовал мой приятель, настоящий художник.

Долли перебирала ярлычки с озадаченно-настороженным выражением лица, пока Верена не спросила ее:

— Ты довольна?

Ярлычки задрожали вместе с пальцами.

— Я не совсем понимаю...

— Все ты понимаешь. — Верена растянула губы в улыбке. — Это же очевидно. Я рассказала Моррису, чем ты занимаешься, и он придумал замечательную надпись.

— «Красавица-цыганка с настойкой от водянки». Очень броско, — похвалился доктор. — То, что требуется в рекламе.

— Для моей настойки? — спросила Долли, не поднимая глаз. — Но мне не нужны ярлычки, Верена. Я все пишу сама.

Доктор Ритц щелкнул пальцами:

— Отличная идея! Ярлычки с как бы рукописным шрифтом. Личное послание, а?

— Мы уже достаточно денег потратили, — окоротила его Верена и повернулась к Долли. — На этой неделе мы с Моррисом едем в Вашингтон оформить авторское право и запатентовать настойку —

естественно, на твое имя. Я это к тому, что ты должна прямо сейчас написать формулу лекарства.

Лицо у Долли вытянулось, и все ярлычки веером разлетелись по полу. Опершись на стол, она встала, черты лица постепенно подсобрались, она подняла голову и с прищуром поглядела на доктора Ритца, на сестру.

— Так не годится, — тихо сказала она и, сделав несколько шагов, взялась за дверную ручку. — Так не годится. У тебя нет такого права, Верена. И у вас, сэр.

Я помог Кэтрин очистить стол: загубленные розы, неразрезанные торты, овощи, к которым никто не притронулся. Верена покинула дом вместе с гостем; из окна кухни мы видели, как они пошли в сторону центра, покачивая головами. А мы разрезали шоколадный торт и понесли его Долли.

— Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! — зашептала она, как только Кэтрин начала перемывать косточки «Этой». Однако взбунтовавшийся внутренний голос быстро перерос в хрипловатый крик, призванный одолеть оппонента: — Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! — так что Кэтрин пришлось ее приобнять со словами:

— Сама ш-ш-ш.

Мы достали колоду миссионерских карт и разложили их на постели. Кэтрин тут же вспомнила, что сегодня воскресенье и мы рискуем получить еще одну черную метку в Книге Судного дня, а впрочем, рядом с ее именем их и без того хватает. Ее слова заставили нас задуматься, и мы решили вместо игры погадать на картах. Уже в сумерках вернулась домой Верена. Мы услышали ее шаги в коридоре, и она вошла без стука. Долли, в этот момент рассказывавшая мне мою

судьбу, схватила меня за руку.

Верена сказала:

— Коллин, Кэтрин, вы свободны.

Кэтрин хотела вместе со мной подняться на чердак, но побоялась за свое нарядное платье, так что я поднялся один. Хотя сучковое отверстие открывало отличный вид на розовую комнату, весь обзор закрыла шляпа Верены, которую та забыла снять. Такая соломенная шумовка, украшенная гроздью целлулоидных фруктов.

— Вот факты, — сказала она, и фрукты задрожали, замерцали в голубой дымке. — Две тысячи за старую фабрику. Сейчас там работает Билл Тейтем и еще четверо плотников за восемьдесят центов в час. Уже заказано оборудования на семь тысяч долларов, не говоря уже о гонораре такого специалиста, как Моррис Ритц. И все ради кого? Ради тебя!

— Ради меня? — Опечаленный голос Долли упал, как сумерки за окном. Она нервно ходила по комнате, и за ней всюду следовала ее тень. — Мы одной крови и плоти, и я тебя нежно люблю всем сердцем. Я могу это доказать, отдав тебе единственное, что мне принадлежит, и тогда оно станет твоим. Но пожалуйста, Верена, — голос ее дрогнул, — пусть хотя бы эта малость принадлежит мне.

Верена включила свет.

— Ты готова отдать. — В голосе, как и в ее горьком взгляде, было что-то стальное. — Разве я не отдавала тебе все, работая год за годом, словно батрак в поле? Этот дом, эти...

— Ты отдавала мне все, — деликатно перебила ее Долли. — Мне, и Кэтрин, и Коллину. Но мы тоже внесли свой маленький вклад, поддерживая этот дом в чистоте и

порядке, разве нет?

— Да уж. — Верена сдернула с головы шляпу. Кровь прилила к щекам. — Вы с твоей бубнящей подругой постарались. Ты никогда не задумывалась, почему я никого не приглашаю в дом? Очень просто: мне стыдно. Вот чем сегодня закончилось.

Я услышал, как Долли задохнулась.

— Прости, — пробормотала она еле слышно. — Ну пожалуйста. Мне всегда казалось, что у нас здесь есть свой угол и что мы тебе нужны. Но все будет хорошо, Верена. Мы уйдем.

Верена вздохнула:

— Бедняжка Долли. Бедная ты, бедная. Куда же вы уйдете?

Чуть замедленный ответ был как полет мотылька:

— Я знаю место.

Позже я ждал в постели, когда

придет Долли поцеловать меня на сон грядущий. Моя комната, находившаяся за гостиной, на отшибе, досталась мне в наследство от мистера Урии Талбо, отца семейства.

Верена перевезла его сюда, старого и слабоумного, с фермы, и в этой комнате он умер, не понимая, где находится. Хотя он умер десять или пятнадцать лет назад, запахи стариковской мочи и табака до сих пор не выветрились из матраса и чулана, где на полке лежало единственное его достояние, захваченное с фермы, — маленький желтый барабан. В мои годы он маршировал в полку южан, выбивая дробь и напевая. Долли рассказывала, что девочкой она любила просыпаться зимним утром под распевы отца, зажигающего камин в доме. А после его смерти она порой узнавала знакомые

мелодии в пении ковыль-травы.

— Это ветер, — возражала Кэтрин.

На что Долли говорила:

— Ветер — это мы: он собирает и запоминает наши голоса, чтобы их потом подхватили полевые травы. Я слышала папу, точно тебе говорю.

В ту сентябрьскую ночь ветер, пробираясь сквозь упругую порывевшую траву, высвобождал голоса ушедших, а среди них, возможно, и старика, в чьей постели я уже начинал задремывать. В какой-то момент я почувствовал, что Долли наконец ко мне пришла, и я проснулся, ощущая ее присутствие, вот только было уже почти утро, пробивавшиеся лучи напоминали распускающиеся цветы, и где-то вдали запели петухи.

— Ш-ш-ш, Коллин, — прошептала Долли, склонившись надо мной. На ней был зимний